

Философические письма. Русско-европейский диалог. 2025. Т. 8, № 4. С. 72–102.

Philosophical Letters. Russian and European Dialogue. 2025. Vol. 8, no. 4. P. 72–102.

Научная статья / Original article

УДК 1(091)

doi:10.17323/2658-5413-2025-8-4-72-102

## «...И ПОМНИТСЯ, И МНИТСЯ»: ДЕКАБРИЗМ МЕЖДУ СОБЫТИЕМ И НАРРАТИВОМ КАК ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЫВ ОПЫТА



**Ирина Федоровна Щербатова**

Институт философии Российской академии наук,  
Москва, Россия, ir.rius@gmail.com



**Аннотация.** Статья рассматривает декабризм как феномен исторического сознания, в котором событие утрачивает статус политического факта и превращается в форму переживания свободы. Исследование опирается на феноменологический подход, понимающий историю не как совокупность причин и последствий, а как опыт самопознания субъекта. Под феноменологическим дуализмом здесь понимается несовпадение переживаемого и осмысленного, когда действие и его нарратив принадлежат разным уровням опыта. С одной стороны, это хаотичный политический акт, а с другой — ос-

мысленный постфактум как начало русской революционной практики. Методологически исследование опирается на феноменологию исторического сознания (Э. Гуссерль, Ф. Р. Анкерсмит), где прошлое (опыт) рассматривается не как совокупность фактов, а как поле смыслов, проявляющееся в нарративах. Таким образом, объектом анализа становится не само событие 14 декабря, а способы его данности в культурной памяти и исторических текстах. Сложную архитектуру нарратива 14 декабря образует три основных габитуса — конституционный, революционный и патерналистский. Первый, нацеленный на законность процедуры смены власти, реализуется в концепте Сената. Второй смысловой уровень восстания связан с его революционной сущностью. Третье содержание восстания обусловлено довлеющей включенностью основных его участников в систему ценностей патернализма и просвещенного абсолютизма. Исходная амбивалентность восстания позволяет рассматривать его не только как провал теории, но и как самостоятельный опыт поиска свободы, где актер не столько исходил из кризиса системы, сколько руководствовался представлениями о чести и достоинстве. Восстание 14 декабря предстает как предел рационализма Просвещения, где идеал правовой реформы вступает в противоречие с метафизикой судьбы, а категория законности теряет устойчивость. В этом разрыве обнаруживается рождение нового типа субъектности — личности, осознающей себя не через участие во власти, а через внутренний акт совести. Таким образом, декабризм раскрывается как предельная форма перехода от исторического события к феномену духовного опыта, положившего начало русскому Просвещению как этико-антропологическому проекту.



**Ключевые слова:** восстание декабристов, нарратив, феноменология опыта, Просвещение, конституционализм, патернализм, самосознание



**Ссылка для цитирования:** Щербатова И. Ф. «...И помнится, и мнится»: Декабризм между событием и нарративом как феноменологический разрыв опыта // Философические письма. Русско-европейский диалог. 2025. Т. 8, № 4. С. 72–102. doi:10.17323/2658-5413-2025-8-4-72-102.

*On the 200<sup>th</sup> Anniversary of the Decembrist Uprising*

“...AND I REMEMBER, AND I IMAGINE”:  
DECEMBRISTISM BETWEEN EVENT AND NARRATIVE  
AS A PHENOMENOLOGICAL GAP IN EXPERIENCE

**Irina F. Shcherbatova**

Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences,  
Moscow, Russia, ir.rius@gmail.com



Abstract. This article examines the Decembrist movement as a phenomenon of historical consciousness, in which an event loses its status as a political fact and becomes a form of experiencing freedom. The study draws on a phenomenological approach, which understands history not as a set of causes and consequences, but as an experience of self-knowledge. Phenomenological dualism here refers to the discrepancy between the experienced and the meaningful, whereby an action and its narrative belong to different levels of experience. On the one hand, it is a chaotic political act, and on the other, a meaningful post-factum as the beginning of Russian revolutionary practice. Methodologically, the study draws on the phenomenology of historical consciousness (E. Husserl, F. R. Ankersmit), which views the past (experience) not as a set of facts, but as a field of meanings manifested in narratives. Thus, the object of analysis is not the event of December 14 itself, but the ways in which it is presented in cultural memory and historical texts. The complex architecture of the December 14 narrative is formed by three primary habituses: constitutional, revolutionary, and paternalistic. The first, aimed at the legitimacy of the process of power change, is realized in the concept of the Senate. The second semantic level of the uprising is linked to its revolutionary essence. The third content of the uprising is determined by the dominant inclusion of its main participants in the value system of paternalism and enlightened absolutism. The initial ambivalence of the uprising allows us to view it not only as a failure of theory but also as an independent experience of the search for freedom, in which the actor proceeded not so much from a crisis of the system as was guided by notions of honor and dignity. The uprising of December 14 appears as the limit of Enlightenment rationalism, where the ideal of legal reform conflicts with the metaphysics of fate, and the category of legality loses its stability. This rupture reveals the birth of a new type of subjectivity — an individual who understands himself not through participation in power, but through an internal act of conscience. Thus, Decembrism is revealed as the ultimate form of transition from a historical event to a phenomenon of

spiritual experience, which marked the beginning of the Russian Enlightenment as an ethical-anthropological project.



**Keywords:** Decembrist uprising, narrative, phenomenology of experience, Enlightenment, constitutionalism, paternalism, self-awareness



**For citation:** Shcherbatova, I. F. (2025) “‘...And I Remember, and I Imagine’: Decembrism Between Event and Narrative as a Phenomenological Gap in Experience,” *Philosophical Letters. Russian and European Dialogue*, 8(4), pp. 72–102. (In Russ.). doi:10.17323/2658-5413-2025-8-4-72-102.

200 лет, прошедшие с восстания 14 декабря 1825 года в Санкт-Петербурге, не смогли стереть из памяти ни события на Сенатской площади, ни их последствия. Иначе как объяснить неизменное стремление каждой новой исторической школы переиначить смыслы этой неудавшейся дворянской революции?<sup>1</sup> Но одно дело — расхождение в оценках события, как правило, идеологически детерминированных, а другое — амбивалентность самого феномена декабризма, когда историческое и символическое восприятие декабризма существуют параллельно. Феноменологический плюрализм декабризма состоит в том, что нарративное поле декабрьских событий в Петербурге слабо коррелируется с историей заговора, имеющей свой собственный предмет и свою эволюцию. Одновременно явственно виден дуализм нарратива самого восстания, а именно внутренние расхождения в понимании цели и тактики заговора, как и то, что Анджей Валицкий назвал непоследовательностью идеологии декабристского движения [Валицкий, 2012, с. 43]. Наконец, события 14 декабря, как череда несогласованностей и неудач, поразительно не соответствуют последствиям и значению восстания, его роли в истории России. Этот момент отметил еще декабрист М. С. Лунин: «Восстание 14 декабря, как факт малозначительно, но как принцип — в высшей степени важно» [Лунин, 1987, с. 137]. Феноменология опыта исторического действия в данном контексте выступает методологической оптикой, позволяющей выявить разрыв между непосредственным опытом восставших и его символическим оформлением. Очень быстро восстание превратилось в символ, который последующие эпохи наполняли своими смыслами,

<sup>1</sup> В строгом смысле однозначных признаков революции в событиях 14 декабря обнаружить невозможно, это не было народное движение, приведшее к смене режима, не было субъекта, выражавшего общую волю, и т. п. Подробнее об этом: [Щербатова, 2015, с. 341–345].

подчас противоречивыми. Так, провал восстания обнаруживал его нравственную победу, что не отменяло его катастрофических последствий. Иными словами, многоплановая оптика декабрьского восстания выглядит как блестящая иллюстрация к концепции дуализма нарратива Ф. Р. Анкерсмита, полагавшего, что исторический нарратив не просто описывает прошлое, а сам создает смысл. Сложная архитектура нарратива 14 декабря обусловлена глубинной мотивацией действий восставших, явственно проступающей, если предоставить, используя выражение Анкерсмита, автономию опыту в его отношениях с теорией [Анкерсит, 2007, с. 19]. Поэтому в качестве методологической опоры избрана феноменологическая перспектива, позволяющая рассматривать восстание не как завершённый эпизод политической истории, а как процесс осмысления опыта, продолжающийся в культурной памяти до сих пор. Применение феноменологического подхода в настоящем исследовании не предполагает строгого следования гуссерлианской традиции, но опирается на общее понимание феноменологии как анализа способов восприятия и переживания события.

Программные документы декабристов (либеральная «Конституция» Никиты Михайловича Муравьева и радикальная «Русская правда» Павла Ивановича Пестеля) с опорой на политические теории, конституционную и революционную практику Западной Европы и Северо-Американских Штатов в той или иной мере последовательно проводили либерально-конституционные или революционно-демократические принципы. Целенаправленная, как подчёркивает А. Н. Медушевский, проработка западных политических теорий и практик привела к тому, что программа Северного общества, главной действующей силы 14 декабря, представляла собой наиболее последовательную для российской политической истории презентацию «доктрины либерализма (права человека, представительное правление, разделение властей)», где гарантия сохранения принципов политической свободы связывалась с конституционной монархией [Медушевский, 2010, с. 29]. Европоцентричность была тем объединяющим концептуальным фоном, на котором рассматривалось настоящее и будущее России. Сосредоточенность декабристов на западной правовой теории и практике не только совпадала со стремлением Александра I преодолеть деспотические формы правления и вывести Россию в число ведущих европейских держав, но и мотивировалась им.

В теоретическом плане «Конституция» Муравьева представляет собой принципиально новый этап в развитии конституционализма в России, преодолевающий ограниченность правительственных проектов последней трети XVIII — первой четверти XIX века, верхом политической мысли которых было



создание совещательного органа в системе просвещенной монархии. Вместе с тем либерально-аристократическая концепция свободы Северного общества не ушла от «идеализации прежних феодальных свобод и веры в роль аристократии как “узды для деспотизма”» [Валицкий, 2012, с. 44]. Последнее выражалось в последствиях решения социального вопроса, в условиях цензурной демократии оставлявшего «за помещиками политическое господство» [Медушевский, 2010, с. 30]. Невысокую политическую потенциальность программных документов декабристов А. Валицкий связывал с тем, что они, демонстрируя просвещенческую веру в абсолютность закона, отождествляли социальные связи с юридическими отношениями [Валицкий, 2012, с. 44], игнорируя исторически обусловленные реалии. Свою миссию декабристы мыслили в идеалах и стилистике Просвещения: обязательными условиями были независимый законодательный орган, представительство и, если получится, общественный договор с Романовыми: «Существующему порядку противопоставлен был законный, обеспечены пределы, положенные провидением всякой человеческой власти: нравственность, разум и справедливость, общая польза — различные отблески одной и той же истины» [Лунин, 1987, с. 55]. Так было на бумаге — рассудочный идеализм Просвещения, в действиях же заговорщиков не было единства, которое бы говорило о согласии в понимании не то что тактики, а целей восстания. В этом плане, согласно Анкерсмиуту, перспективнее рассматривать восстание не как провал теории, а как самостоятельный опыт поиска свободы — опыт несовершенный, но честный, учитывая и то обстоятельство, что западная теория и даже практика выглядят и воспринимаются как канон, но перенесенные на русскую почву, что бы это ни было, — всегда апокриф. Это не обвинение и не умаление — речь идет о культурной специфике, в которой, собственно, и заключается феноменологический разрыв: несовпадение идеи и опыта. Иными словами, западный канон трансформируется в «русскую модификацию», где опыт пересоздает теорию.

## I

С неизбежной долей схематизма в хаосе событий 14 декабря можно выделить три основных габитуса — конституционный, революционный и патерналистский. Эти три архетипа поведения и образуют затейливые переплетения теории и опыта, что нашло отражение в конкретных действиях, ретроспективных текстах и политических проектах декабристов. В воспоминаниях декабристов «политическая законность организованного выступления подспудно противопоставляется тому сумбуру, что происходил в реальности»

[Немзер, 1988, с. 12]. На первый взгляд, это так, но был момент, своего рода первый акт действия, для которого план существовал, и план этот был основан на полномочиях Сената. В нарративе Сената реализуется феноменологический подход, где главным фактором является не последовательность причин и следствий, а автономное проявление опыта, обусловленного культурно-исторической спецификой сознания. В концептуальной базе декабризма есть еще один текст — «Манифест к русскому народу», третий после «Конституции» Муравьева и «Русской правды» Пестеля программный документ движения. Он был составлен Сергеем Петровичем Трубецким накануне 14 декабря и должен был быть предоставлен Сенату на утверждение. При всей своей краткости в существе своем Манифест являлся самой продвинутой и последовательной программой преобразований за период развития русского конституционализма, включая первую половину XIX века, в нем впервые были четко сформулированы базовые либеральные принципы. Манифест объявлял низложенным существующее правление и «учреждение временного, до установления постоянного, выборными». Немногочисленное Временное правительство должно было разработать порядок выборов в представительный орган с функциями учредительного собрания. Для России XIX века это было настоящим прорывом, особенно если вспомнить, что даже спустя полвека, во времена великих реформ Александра II, далеко не все из этого стало реальностью. Манифест объявлял свободу печати, вероисповедания, отмену крепостного права («уничтожение права собственности, распространяющейся на людей»), равенство всех сословий перед законом, уничтожение армии, военных судов, рекрутства и военных поселений, введение народной армии, гласного суда, суда присяжных, отмену подушной подати и недоимок и т. д. [Восстание декабристов, 1925, с. 107–108]. Немаловажно и то, что законодательная прерогатива Сената — это то немногое, что объединяло планы Северного и Южного обществ, и одновременно — блестящий пример внутреннего раздвоения декабризма как революционного действия, облеченного в форму юридического акта. Сенат выступал не столько как учреждение, сколько как символ легитимности. Он отвечал намерению декабристов использовать существующие органы власти для того, чтобы утвердить новую власть законным путем, избежав возможного сценария Французской революции. Советскую историографию особенно раздражало стремление декабристов действовать законно. М. В. Нечкина в решении обратиться к Сенату видела «ограниченность дворянской революционности — боязнь разбить старую государственную машину, попытку опереться на нее в поисках “законных” форм для революционного по существу действия» [Нечкина, 1985, с. 40]. На роли Сената был завязан

смысловой узел стратегии движения декабристов, что в наиболее четкой форме было зафиксировано в бумагах Трубецкого:

Воспользовавшись упорством солдат, не давать новой присяги, вывести полки и посредством их, собрав другие, заставить Сенат: 1) издать манифест для возвещения народа, в каких необычайных обстоятельствах находится Россия, и для приглашения выбранных людей от всех сословий для решения предстоящего затруднения. (...) Издать манифест именем Сената было бы действие самое законное и народное.

[Трубецкой, 1988, с. 45–46]

В этом позднем припоминании не прозвучал один существенный нюанс: необходимо было сделать так, чтобы войска в качестве главного аргумента стояли на Сенатской площади до начала присяги сенаторов, иначе почему для восстания была выбрана именно Сенатская площадь, а не площадь перед Зимним дворцом? Трубецкой подчеркивал, что декабристы сознательно не стремились к узурпации власти — в план Трубецкого входили переговоры с Николаем I: «Вступить в переговоры с Николаем Павловичем и вступление на престол подвергнуть решению общего собрания доверенных людей всех сословий государства, собранных призывом Сената, следовательно, мы не принимали на себя никакой власти» [Трубецкой, 1988, с. 67–68]. Уточнение Трубецкого о намерении вступить в переговоры с Николаем I указывало также и на то, что конституционные иллюзии русского дворянства имели более глубокие основания, связанные с историей воцарения Романовых, когда ситуация междоусобицы создавала условия для практического воплощения общественного договора. Именно такое понимание проблемы изложил Александр Бестужев (Марлинский) в письме Николаю I: «Отрицая же право народа во время междоусобицы избирать себе правителя или правительство, приводилось бы в сомнение возведение царствующей династии на престоле России» [Декабристы, 1951, с. 512].

По плану, составленному накануне восстания, в Сенат делегировались Кондратий Рылеев и Иван Пущин, оба, что важно, штатские. Выполнение этого пункта, очевидно, не вызывало особых сомнений, хотя и допускалось принуждение сенаторов к принятию Манифеста. План основывался на том, что сенаторами являлись отец братьев Пуцциных И. П. Пущин, отец декабристов И. М. Муравьев-Апостол, дядя декабриста Василия Дивова. Сенатор Н. С. Мордвинов был известен своими либеральными взглядами и тесным знакомством со многими декабристами. Но что особенно важно — обер-прокурор Сената



С. Г. Краснокутский был членом Южного общества. Так что о времени присяги Сената декабристы знали. По воспоминаниям Михаила Пущина, 13 декабря на квартире Рылеева Краснокутский заверил присутствующих, что, «если будет собрано войско на Сенатской площади, он заставит сенаторов подписать конституцию и отречение от престола императора» [Пущин, 1980, т. I, с. 234]. Пущин не уточнил, что Краснокутский, предлагая, по сути, единственный конструктивный план, только что вернулся от М. М. Сперанского, где последний, не выразив сомнения в правильности присяги Николаю I и отвергнув предложение о каком-либо участии в действиях заговорщиков, подтвердил, что присяга сенаторов назначена на семь утра [Брегман, 1989, с. 64]. Таким образом, главным условием успеха должно было быть присутствие войск на Сенатской площади ранним утром так, чтобы сенаторы могли бы увидеть их сквозь замерзшие окна. Но присягнув в 7.20, в восемь утра сенаторы покинули здание — на Сенатской площади в это время не было никого.

Михаил Бестужев, описывая происходящее в казармах утром 14-го, о семи-часовом сроке не упомянул, напротив, работа с солдатами в казармах началась уже после того, как стало известно, что сенаторы присягнули и разошлись. Последнее свидетельствует о том, что важнейшая часть плана восстания — зависимость принятия сенаторами Манифеста от наличия войска на Сенатской площади — не была должным образом воспринята и проработана. Безусловно, среди декабристов существовал определенный скепсис в отношении решимости Сената, который лишь «исполнит то, что повелено будет. Давно уже он перестал считать себя первым государственным местом, хотя и считается таковым в народе», — пояснял впоследствии Трубецкой [Трубецкой, 1988, с. 40]. Но главная причина, по-видимому, заключалась в том, что план, предложенный Трубецким, был отвергнут еще до объявления о предстоящей переприсяге [Брегман, 1989, с. 59], во всяком случае смысл его не был донесен до братьев Бестужевых, от которых во многом зависело присутствие войск на площади. Рылеев «хотел явного восстания, явного требования прав, в полном убеждении, что иначе народу не получить того, что ему следует» [Розен, 1984, с. 178]. Рылеев сосредоточил внимание на захвате Зимнего дворца и аресте царской семьи. Вечером 13 декабря он пытался уговорить А. И. Якубовича и П. Г. Каховского нейтрализовать царскую семью и устранить Николая I. Таким образом, Сенат надеялся на организованность и решительность членов общества, заговорщики же, очевидно, питали надежду на то, что сенаторы сами вспомнят о своих правах. Оба ожидали, что другой проявит инициативу. В истории с Сенатом впервые проявился внутренний дуализм восстания не как противоречие идей, а как фатальный разрыв между ожиданием и действием. Сенат, ставший

символом законности, и заговорщики, претендовавшие на революционное действие в рамках законности, оказываются зеркалами, ждущими отражения друг в друге. Их встреча не состоялась, и именно в этом несостоявшемся акте проявился феномен декабризма как опыта невозможного действия. Это почти гегелевская сцена: оба субъекта ждут признания друг от друга, но не делают первый шаг. Неизвестно, что Гегель имел в виду, но поистине получалось по Гегелю: «Оба не отдают себя друг другу и не получают себя обратно друг от друга через посредство сознания, а лишь равнодушно как вещи предоставляют друг другу свободу» [Гегель, 2000, с. 100]. Очевидно, Гегель говорил о самосознании человека, предполагая его становление и развитие. В свете этого негодование С. Г. Батенькова утром 14 декабря — «никто в Совете и Сенате о нас не позаботился», — неожиданно обнаруживает род инфантилизма [Батеньков, 2015, с. 145]. Этот первый разлад в действиях заговорщиков говорит о структурном провале коммуникаций внутри самого восстания, но одновременно это свидетельство феноменологического дуализма на уровне события, а не только в его осмыслении. Восстание в первой своей, мирной, части провалилось не из-за предательства или случайности, а из-за несостыковки между замыслом и исполнением. Не сработало практическое звено. При формальном плане не было твердой веры в легитимность решения Сената, в решительность сенаторов, но главное — не было организационного сознания, соответствующего собственным идеалам: внутри движения либеральные идеи не совпали с практикой политической дисциплины. В 9 часов утра Трубецкой вызовет Пущина и Рылеева и объявит им, что здание Сената пусто и что уже многие полки присягнули Николаю I. Поразительно звучит позднейшее признание Пущина о том, что они с Рылеевым еще долго ходили по бульвару в ожидании войск и, «не видя никого, возвратились домой, натурально рассуждая о плане нашем и отчаиваясь в успехе» [Нечкина, 1985, с. 92].

Начинался второй акт восстания, режиссером которого был Кондратий Федорович Рылеев. Он отдает распоряжение братьям Бестужевым выводить солдат на площадь, под окна пустого Сената. Этот разрыв в смыслах Рылееву не очевиден, но он понятен Трубецкому — он еще рядом с Рылеевым, еще участвует в обсуждении планов, но сказать самое главное — что решил отказаться от участия в восстании, у него не хватило духа. «Я не имел довольно твердости, чтоб просто сказать им, что я от них отказываюсь» [Нечкина, 1985, с. 91]. Возвращаясь с присяги, он видел одиноко стоящие две роты Московского полка. Трубецкой для всех еще оставался диктатором восстания, и он еще мог приказать Бестужевым развернуть войска и тем самым предотвратить катастрофу, но он прошел мимо солдат к своему дому, понадеявшись, что придут

какие-нибудь две-три роты, постоят и разойдутся. Даже спустя годы декабристы не могли найти объяснения этому поступку генерала, в смелости и порядочности которого никто не сомневался. Его жест — не бегство и не предательство, а момент онтологического распада нарратива, когда сама категория законности теряет смысл. Безусловно, опытный военный, Трубецкой был уязвлен тем, что светский молодой человек, каким он видел Рылеева, пренебрег его планом. Да, в его плане шествия с барабанным боем от полка к полку, от казармы к казарме было много сентиментального представления старого военного о солдатской солидарности; в его вере в определяющую роль войска, способного повлиять на мнение сенаторов, отзывалась история дворцовых переворотов, опиравшихся на гвардию, но все же в его концепте Сената, передающего власть Временному правительству, заключалась внятная, осознанная линия правовой смены власти. Более того, этот план отражал ожидания всего культурного общества в необходимости установления конституционного строя. В этом и заключалась главная причина бездействия Трубецкого — в его глазах присяга сенаторов лишала законности все последующие действия восставших. Досадуя на Рылеева, Трубецкой явно недооценил происходившее, в чем он не переставал раскаиваться все последующие годы каторги и ссылки [Щербатова, 2015а, с. 12–13]. Роль Трубецкого, представителя аристократии, его уход со сцены после первой попытки установления конституционного строя, трагична. В этом тихом шаге Трубецкого мимо Московского полка видится не просто личная слабость, а символический момент — Россия, застывшая между старым и новым, проходит мимо своего будущего. Рациональные ошибки (план, коммуникация, присяга) переходят в онтологическую катастрофу: идеал законности вступает в противоречие с необходимостью действия. В фигуре Трубецкого концентрируется трагедия русского либерализма: стремление сохранить форму законности даже ценой утраты самой возможности действия. В этот миг идеология реформы уступает место феномену судьбы, а политический акт становится началом мифа.

## II

Так, к восьми часам утра, когда восстание еще и не началось, план по введению конституционного правления в России был провален в своих основополагающих пунктах, однако еще раньше, ранним утром 14 декабря, провалилась и силовая часть плана, инициатором которой был Рылеев. 13 декабря уже было известно, что А. Ф. Моллер, полковник Финляндского полка, который 14 декабря должен был с батальоном занять караулы от Зимнего дворца до Адмиралтейства, видя явную несостоятельность планов заговорщиков, не

без колебаний, так как он нарушал данное слово чести, отказался перейти на их сторону. Ранним утром 14 декабря Александр Якубович после жестоких ночных сомнений отказался вести морских гвардейцев в Зимний дворец с тем, чтобы арестовать царскую семью. Одновременно Петр Каховский отказался исполнить личную просьбу Рылеева — убить Николая Павловича. Рылеев был одинок в своих планах силового захвата власти. Террористическая линия выглядела маргинальной и во мнении просвещенного общества; будь она сколько-нибудь популярной, это не могло бы объяснить общественный подъем в ожидании реформ Александра I [Щербатова, 2015b, с. 340]. Если в личности Трубецкого можно видеть основного проводника конституционной идеи восстания, то Рылеев был той фигурой, которая олицетворяла его революционную сущность. Архетипы Трубецкого и Рылеева, явных антиподов, как разум без действия и действие без разума, символизируют дуализм декабрьских событий, два полюса феноменологического конфликта между свободой и порядком, между рациональным стремлением к законности и жертвенным порывом. Стилистически и риторически Рылеев являл собой прообраз идейного вождя политического заговора. «Рылеев, в душе революционер, (...) был пружиной возмущения; он воспламенял всех своим воображением и подкреплял настойчивостью, давал приказания и наставления, как не допустить солдат до присяги и как поступать на площади» [Боровков, 1980, с. 95]. Одержимый идеей свободы, одушевленный историей вольных городов русского Средневековья, Рылеев мало считался с реальным положением вещей, нередко выдавал желаемое за действительное, не задумываясь о последствиях, преувеличивал размер тайного общества, преуменьшал количество присягнувших. Когда же в момент междоусобицы пришло время выступить, на вопрос Николая Бестужева — «Где же это общество?» — Рылеев ответил: «Я обманулся сам; мы не имеем установленного плана, никакие меры не приняты, число наличных членов в Петербурге невелико» [Бестужев Н., 1980, с. 81]. На не совсем безобидный идеализм Рылеева указал Батеньков: «Я упрекал Рылеева, что они, не принося пользы, раздражают только правительство. Он начал убеждать, что сие нужно, что ежели мы долее будем спать, то не будем никогда свободными» [Батеньков, 2015, с. 133]. В помыслах Рылеева главный смысл восстания заключался в том, чтобы *разбудить* — метафора, которую потом будет использовать А. И. Герцен, издавая «Колокол» с эпитафией «Vivos voco!» («Зову живых», Шиллер), и, конечно, В. И. Ленин с известным: «Декабристы разбудили Герцена».

Стремление Рылеева к переменам в самодержавном образе правления путем военного переворота мотивировалось идеей блага народа, но в реальности

выливалось в игнорирование актуального контекста, в сознательный отказ от поддержки каких-либо слоев населения и в заведомую дезинформацию войска с тем, чтобы не допустить солдат к присяге Николаю I. Известный демократизм Рылеева не позволяет имевшую место определенную манипуляцию настроением войск просто приписать его классовому высокомерию. Действовать во благо народа, но без народа — это классическая дилемма дворянских оппозиционеров, и не заметить противоречия здесь было невозможно: в большинстве своем декабристы были хорошо образованные люди. Бесспорно, этот вопрос обсуждался в кругу тайных обществ, и была выработана общая позиция. О. И. Киянская приводит интересный факт: Сергей Муравьев-Апостол в начале 1820-х развивал теорию о двух типах людей — одни «рождены, чтобы управлять, другие — быть ведомыми», что в какой-то мере предвосхищало идею Ф. М. Достоевского о «людях обыкновенных и необыкновенных», вложенную в уста Родиона Раскольникова [Киянская, 2023, с. 298]. Похожий взгляд Рылеев излагал Евгению Оболенскому. Он заключался в том, что есть меньшинство, которое способно выразить, в чем состоит суть общей пользы, «большинство» же только «чувствует, но не может еще выразить». Исходя из этого, Рылеев считал себя вправе говорить и действовать от имени тайного общества «в полной уверенности, что едва эти идеи сообщатся большинству, оно их примет и утвердит полным своим одобрением» [Оболенский, 1980, с. 103–104]. Трубецкой разделял это видение, но в своих показаниях называл вещи своими именами, сказав, что декабристы допускали, что солдат, которые не захотят присягать Николаю I, «можно будет использовать» [Трубецкой, 2010, с. 215]. Достоевский довел до логического конца теорию лидерства, выведя ее на орбиту концепта сверхчеловека, в системе же взглядов декабристов теория двух типов людей, выглядевшая еще почти вегетарианской, как минимум снимала противоречия в тактике. И не только. Убежденность в объективности (то есть будучи «свободно рожденной», независимой от «свокорыстных чувств») идеи свободы и справедливости позволила декабристам утверждать, что восстание было *народным* волеизъявлением, как то написал Лунин: «То было первое открытое выражение народной воли в пользу представительной системы и конституционных идей» [Лунин, 1986, с. 137]. Подобная перестановка не то чтобы была риторическим или демагогическим приемом, таково было самосознание дворянства, мыслившего себя выразителем интересов вверенного ему народа. В этом смысле позиция Рылеева была практическим воплощением мировоззрения эпохи Просвещения; в ней отразился «надклассовый, общечеловеческий характер Просвещения», в том числе и его «аристократический тон» [Пустарнаков, 1999, с. 62]. Тактика Рылеева не толь-



ко старыми, но и молодыми членами общества впоследствии будет признана ошибочной, но в то же время в памяти декабристов Рылеев остался светлой личностью, борцом с самодержавием. Все понимали, что страшной жертвой он искупил свою одержимость, граничившую с политическим авантюризмом: «Рылеев, виновник 14 декабря, искупляет невольное увлечение» [Лунин, 1987, с. 74].

Правда и то, что дискурс осознанной жертвы имел позднее происхождение, когда свершилась поразившая своей жестокостью казнь пятерых декабристов, в которую до конца никто не верил — ни осужденные, ни общество. За два либеральных правления Екатерины II и Александра I дворяне привыкли к лояльной реакции власти, когда серьезным наказанием становилась высылка в имение<sup>2</sup>. Как заметил М. Малиа, уничтожение бунтарей, хотя и заслуживших наказание, за то, что они пренебрегли негласным договором, связывающим самодержавие и дворянство, было нарушением приличия. Следствием этого стал нравственный разрыв между правительством и обществом [Малиа, 2010, с. 75]. В стремлении утешить, преподать урок потерявшему берега дворянству Николай I разрушил краеугольный камень просвещенной монархии, над имиджем которой так бились Екатерина II и Александр I. Все-таки в понятиях общества Романовы еще не так давно были выбраны на царство дворянством, иными словами, при всей богоданности царя как институции, он оставался первым из дворян, скованных одной цепью дворянской чести. А ужасные подробности казни, когда вопреки поверьям и элементарной гуманности трое из сорвавшихся (Рылеев, Муравьев-Апостол, Каховский) были повешены вновь, лишали Николая I какой-либо человечности, а не то что нравственного авторитета, и делали его в глазах общества человеком, нечувствительным к понятию достоинства. Казнь не могла остаться просто политическим фактом, она стала антиномией цивилизации и варварства, обозначив момент, когда моральная ткань общества начала рваться, во всяком случае, после 1825 года понятие нравственности стало одним из ведущих в общественном дискурсе. Казнь декабристов превращала восстание в экзистенциальное событие. Правда и то, что первые годы общество изо всех сил старалось обманываться. «Стансы» А. С. Пушкина, уподобившего декабристов мятежным стрельцам, этому подтверждение. Можно представить, с какой горечью декабристы прочли: «Начало первых дней Петра мрачили мятежи и казни», если бы им, вышедшим на этап, было тогда до поэзии.

<sup>2</sup> Отец Рылеева, обедневший столбовой дворянин, владел имением Батово близ Гатчины, которое так же, как и рядом расположенное Рождествено, где похоронена мать Рылеева, в конечном счете перешло к Набоковым.

Накануне восстания, в десять часов вечера Рылеев объявил, что войска, собравшись на Сенатской площади, «как бы ни были малы силы», немедленно должны идти брать Зимний дворец: «Надобно нанести первый удар, а там замешательство даст новый случай к действию» [Бестужев Н., 1980, с. 85]. В обоснованном намерении преодолеть историографические и идеологические штампы А. В. МIRONENKO показывает, какую огромную роль в событиях 14 декабря играл случай; о том, что вера в удачу заменила стратегию, свидетельствует и весь нарратив восстания. Не только Рылеев надеялся на случай — все дело ставилось «на случай благоприятный, на неожиданную помощь, на то, что называется счастливою звездою» [Оболенский, 1980, с. 106]. Эта сослагательность явно звучит и в словах Трубецкого: «Когда сопротивление оказалось бы довольно сильное, вероятно, власть вступила бы с нами в переговоры» [Трубецкой, 1980, с. 53]. Речь идет о двух различных уровнях каузальности, безусловно, взаимосвязанных. МIRONENKO исходил из того, что необходимость восстания не вытекала из исторической необходимости, вызванной кризисом российской государственности или социальными катаклизмами, а была обусловлена сплетением исторических случайностей [МIRONENKO, 2016, с. 366–382]. Но именно в условиях отсутствия подготовленной почвы или, иначе, отсутствия объективных предпосылок к смене режима вырастает и становится едва ли не довлеющей роль спонтанности, чего не могли не ощущать восставшие.

Момент для восстания, действительно, во всех отношениях был не самый подходящий. В далеко не структурированных планах тайных обществ восстание намечалось на май — август 1826 года и приурочивалось к военному смотру при условии совпадения ряда других обстоятельств, но уже к 1823 году оппозиционная энергия, заданная цивилизующим влиянием заграничных походов (1813–1814) и поддержанная либеральной риторикой императора, явно выдохлась. У старых членов накопилась усталость и главным образом разочарование в результативности деятельности тайного общества. К 1823 году от дел отошли Н. М. Муравьев, М. А. Фон-Визин, М. Ф. Орлов, М. С. Лунин, Н. И. Тургенев. В 1824 году Северное общество вместо уехавшего в Киев Трубецкого возглавил поэт-романтик Рылеев. Вскоре стало очевидно, что Северному обществу «повредило влияние новых членов, которым поручено было временное управление дел» [Лунин, 1987, с. 56]. В начале 1825 года «по делам общества все находилось в каком-то затишье. (...) Наличное число членов Общества в Петербурге было весьма ограничено. Вновь принятые были еще слишком молоды и неопытны, чтобы вполне развить собою цель и намерения Общества» [Оболенский, 1980, с. 102]. Помимо непрочности стратегической и тактической основы, к декабрю общество выглядело ослабленным организационно, так как

лишилось тех членов, «которые бы непременно сделали значительный перевес во власти». Большая часть высшего офицерства, сочувствующая, так или иначе связанная с тайным обществом, отказалась от участия в восстании в силу его явной обреченности. Готовность же действовать высказали офицеры «чином не выше ротного командира» [Трубецкой, 1988, с. 44].

Подполковник Гавриил Степанович Батеньков примкнул к делам тайного общества в начале 1825 года, имея за плечами солидный административно-реформационный опыт в команде М. М. Сперанского. У него была возможность как бы со стороны взглянуть на деятельность Северного общества незадолго до восстания:

Рылеев казался мне неосновательным. (...) Ни он, ни Трубецкой даже не могли мне дать ответов, до переворота относящиеся. Например, о банках, внешнем и внутреннем кредите, государственных имуществах, о крепостном состоянии крестьян, о финансовой и военной системе, о средствах гарантии вновь замышляемого правительства и проч.

[Батеньков, 2015, с. 136]

Батеньков подметил характерную черту готовящегося военного переворота в России: все ставилось на результат, на захват власти; при этом первоочередные меры Временного правительства, его компетенции, ресурсы и их гарантии не обсуждались ни с предполагаемыми кандидатами, ни в собственных планах. Батеньков не раз заверял Рылеева, что Сперанский никогда не согласится на участие во Временном правительстве, и предлагал вместо него в качестве нравственного авторитета поставить архиепископа Филарета (Дроздова), будущего митрополита [Батеньков, 2015, с. 138]. О том, что его самого прочат в члены Временного правительства, Батеньков узнал буквально накануне восстания. Эта абстрактность и утопичность планов заговорщиков как раз и свидетельствовала об оторванности декабризма от «земли», о чем говорил Валицкий, как феномена, основанного на просветительской идеологии, изначально соответствующей другим реалиям.

Многое из того, что случилось 14-го, имеет объяснение в событиях 13 декабря. Восстановлению картины тех дней способствует антропологический подход: воспоминания и исторические свидетельства позволяют представить во всем объеме горизонты культурно-исторического сознания индивида. Парадоксы и закономерности восстания раскрываются в индивидуальных историях, что в конечном счете дает возможность «проследить культурную и социальную связь индивида и его эпохи» [Щедрина, 2015, с. 336, 334]. Для

понимания декабризма как исторического феномена требуется обращение не только к фактам, но и к способу их переживания современниками. За множеством документальных свидетельств скрывается нечто общее — состояние ума, где долг вытесняет разум, а случай становится формой судьбы. Поступки и мнения непосредственных участников восстания обнаруживают несколько слоев восприятия, несколько реальностей внутри одного исторического события. Самоощущение, в чем-то совершенно расслабленное, состояние, лишенное твердой воли, далекое от какой-либо концентрации малых сил, раскрывают показания Батенькова, они обнаруживают чувство раздвоенности, неверия в то, что действительно что-то произойдет. Утром 13 декабря Сперанский позвал к себе Батенькова и свою дочь Елизавету (Батеньков жил в доме Сперанского. — *И. Щ.*) и поздравил их с новым государем. «Мне было очень грустно, — вспоминал Батеньков, — и я вышел поспешно от Сперанского, сказал его дочери, что всякий думает о себе, а об России никто не заботится. (...) Хотел тотчас ехать к Трубецкому, чтоб узнать у него, не будет ли чего в войсках, но остановился, вспомнив, что дал слово обедать у градского главы или у купца Сапожникова. В рассеянности и досаде, увидев Рылеева, сказал ему, что все кончено и что мы опять присягнем по манифесту, он, казалось, оставил это все без внимания. Я обратился к Бестужевым, толковал о том, что если б взять и немного войск да пройти с барабанным боем от полка к полку, то можно бы множество произвести славных дел. Ехал в коляске с А. Бестужевым, изъявлял желание видеть на престоле Елизавету Алексеевну или Михаила Павловича, и, наконец, с спокойным духом пришел к купцу Сапожникову обедать. Играл там на бильярде и в бостон с женщинами» [Батеньков, 2015, с. 144–145]. Этим же вечером в доме Рылеева многолюдное собрание пребывало в «лихорадочно-высоконастроенном состоянии. Тут слышались отчаянные фразы, неудобно-исполнимые предложения и распоряжения, слова без дел, за которые многие дорого заплатились, не будучи виноваты ни в чем», — вспоминал Михаил Бестужев [Бестужев М., 1980, с. 60]. Трезвому голосу Трубецкого — «к поднятию оружия мы не готовы, нет никакого нравственного ручательства в успехе предприятия» — противостоял вдохновленный идеей свободы, но путающийся в планах Рылеев — «откладывать задуманного нельзя» [Пуцин, 1980, с. 234]. Эту неосновательность, безответственность, легкомысленность поставил декабристам в вину Петр Чаадаев в письме декабристу Ивану Якушкину:

Я много размышлял о России с тех пор, как роковое потрясение так разбросало нас в пространстве, и я теперь ни в чем не убежден так твердо, как в том, что народу нашему не хватает прежде всего — глубины. Мы прожили века так,

или почти так, как и другие, но мы никогда не размышляли, никогда не были движимы какой-либо идеей; и вот почему вся будущность страны в один прекрасный день была разыграна в кости несколькими молодыми людьми, между трубкой и стаканом вина.

[Чаадаев, 1991, с. 106]

В свойственной ему историософской манере Чаадаев выразил досаду, которую испытывало после поражения восстания все культурное общество. В атмосфере экзальтации, в какой находились молодые офицеры, конституционные планы, плод многотрудных раздумий Муравьева, как и трезвые размышления о последствиях, были как-то неуместны. Необходимость организовать выступление в кратчайшие сроки междоусобия привела к действиям, которые не отражали программных целей тайного общества и практически не коррелировались с политическими предпочтениями участников восстания, также довольно неопределенными. Паролем, звучавшим 14 декабря, было: «Ты за свободу?» В этот момент над участниками заговора довлело чувство долга, данное слово чести и ощущение причастности к чему-то исторически значимому. По воспоминаниям Евгения Петровича Оболенского, «при всей невероятности успеха, каждый чувствовал, что обязан Обществу исполнить данное слово — обязан исполнить свое назначение, и с этими чувствами, этими убеждениями в неотразимой необходимости действовать каждый встал в ряды» [Оболенский, 1980, с. 106]. Феноменологический подход позволяет рассмотреть декабризм не как провал политического заговора, а как событие сознания, где впервые в России возникла коллизия между идеей закона, долгом и опытом свободы. В хаосе случая проявилась не логика истории, а логика духа. Они действовали не ради результата, а ради утверждения своего Я. Неотвратимость восстания нависала как рок: «Я и многие со мною изъявляли мнение против мер, принятых в этот день Обществом, но необинуемость<sup>3</sup> близкая, неотвратимая заставила отказаться от нравственного убеждения в пользу действия, к которому готовилось Общество в продолжение стольких лет» [Оболенский, 1980, с. 106]. Нравственные сомнения Оболенского были вызваны чувством ответственности: имеют ли право они, «едва заметная единица в огромном большинстве населения нашего отечества, предпринимать государственный переворот и свой образ воззрения на

<sup>3</sup> «Обину́ться» значит колебаться, медлить, действовать не прямо («не обинулся» = не стал юлить). Соответственно, существительное «обину́емость» может означать нерешительность, склонность к колебанию, тогда «необинуемость» означает «без колебаний, решительно». Оболенский, очевидно, употребил это слово в смысле роковой неизбежности.



государственное устройство налагать почти насильно на тех, которые, может быть, довольствуясь настоящим, не ищут лучшего; если же ищут и стремятся к лучшему, то ищут и стремятся к нему путем исторического развития?» [Оболенский, 1980, с. 103]. Рылееву были чужды подобные сомнения, он воспринимал их как признак охлаждения к делу. Парадоксально, но 14 декабря и Рылеев не являлся главным действующим лицом, он исчез со сцены примерно в то же время, что и Трубецкой. Рылеев появился утром на Сенатской, но был послан за войсками, и больше его на площади не видели; тем не менее его роль в восстании декабристов переоценить сложно. Рылеев — это символ пробуждения, символ идеалиста, идущего на костер в стремлении снять недуг паралича воли со спящего общества.

### III

Стоит обратить внимание на тот факт, что не кончина императора Александра I показалась членам тайных обществ той единственной возможностью, которой необходимо воспользоваться для перемены образа правления, а отмена присяги цесаревичу Константину. Причиной восстания становится понятное солдатам нарушение присяги. С одной стороны, эта редчайшая историческая пауза междуцарствия, когда «Россия сделалась свободна от присяги», предоставив тем самым «законность искать чего-либо в пользу отечества» [Батеньков, 2015, с. 136], оправдывала выбор момента восстания: «Два отречения, две присяги, последовательные и противоречащие, тайное завещание, отысканное в архивах, взволновали, расстроили умы и породили происшествие 14 декабря» [Лунин, 1987, с. 56]. С другой — всеми понималось, что в действительности это только повод, техническая заминка, «средство», наконец: «В средствах исполнительных принята основанием просто верность войск данной государю цесаревичу присяги» [Батеньков, 2015, с. 137]. Заговорщики полагали, что этот повод не ведет к беспорядкам, а в случае неудачи обеспечивал пути отступления. В законопослушном бунте и есть суть русской амбивалентности — между желанием перемен и страхом разрушить порядок.

Под лозунгом верности присяге Константину некоторым младшим офицерам с большим трудом и лишь в середине короткого декабрьского дня все же удалось вывести части отдельных рот на Сенатскую площадь, но действовать из-за нарушения присяги, стрелять в своих братьев-солдат, среди которых была сильна солидарность, оказалось невозможно; к тому же артиллерия к восставшим не присоединилась, а что может ружье против картечи?! Наконец, молодые военные так и не дождались того, кто мог бы взять на себя командование войсками. Этот психологического свойства момент сыграл свою

роль в нерешительности восставших, да и любой, взявший бы на себя командование, в той ситуации не знал бы, что делать. Заместители Трубецкого отказались возглавить восстание. Назначенным стрелять в Николая I как будто паралич сковал руки. Царь не собирался спасаться бегством, как то полагал Рылеев, он стоял перед войском заговорщиков, и никто не решился его застрелить. Каким будет царствование Николая I, еще никто не знал, в том числе и он сам. На нерешительность офицеров также не могло не повлиять то обстоятельство, что восстание многие годы предназначалось Александру I — ему обманутое поколение готовило вызов. Это было для всех очевидно. «День был кровавый; но то, что произвело его, не принадлежит новому царствованию, а должно быть отнесено к старому», — записал В. А. Жуковский, едва стихли пушки [Жуковский, 2004, с. 245], буквально повторяя слова Н. М. Карамзина, сказанные императору 26 декабря. Смертельное ранение генерала М. А. Милорадовича, героя Отечественной войны 1812 года, любимца армии, посланного Николаем Павловичем на переговоры к восставшим, было трагической ошибкой, которая не оставила императору выбора<sup>4</sup>. Несообразность поведения офицеров на площади, редкие действия которых были все сплошь неверными<sup>5</sup>, явилась выразительным свидетельством смятения восставших, увлеченных фактором присяги и потерявших цель восстания. Вот как выглядело восстание в глазах самих декабристов. Андрей Евгеньевич Розен вспоминал: «И. И. Дибич спросил меня, почему я остановил солдат посередине Исаакиевского моста. Я ответил, что удостоверившись лично, что на Сенатской площади не было начальника, не было никакого единства и никакой точности в распоряжениях (...), то считал за лучшее остановиться и не действовать» [Розен, 1984, с. 114]. Другим был взгляд из дворца:

Бунтовщики примкнули тылом к Сенату и стояли неподвижно, окружив всю площадь цепью. Вокруг них толпился народ. Всех ближних к ним они за- таскивали в свою толпу и принуждали кричать вместе с ними: «ура! Константин». (...)

Изменники, или лучше сказать разбойники-возмутители, были одни офицеры, которые имели свой план, не хотели ни Константина, ни Николая, а просто пролития крови и убийства, которого цели понять невозможно. Тут видно

<sup>4</sup> Милорадович, не входивший в круг явных прогрессистов, умирая от пули Каховского, успел отдать распоряжение об освобождении своих крестьян.

<sup>5</sup> Например, Оболенский, в конце дня выбранный командующим вместо Трубецкого, опасаясь того, что Милорадовичу удастся воздействовать на восставших, легко ранил его штыком, но этот жест спровоцировал выстрел Каховского и последующее решение Николая I атаковать.

удивительно-бесцельное зверство. И какой дух низкий, разбойничий! Какими бандитами они действовали! Даже не видно и фанатизма, а просто зверская жажда крови, безо всякой, даже химерической цели.

[Жуковский, 2004, с. 141, 244]<sup>6</sup>

Появление войск на Сенатской площади в значительной степени заслуга братьев Бестужевых — Александра, Михаила и Николая, приведших на площадь роты Московского полка и матросов Гвардейского морского экипажа. Воспоминания М. Бестужева вызывают противоречивые чувства. Затянутые в легкие парадные мундиры, его солдаты стояли на морозе семь часов под запретом что-либо предпринимать, готовые на все, что ни прикажет ротный командир. Когда картечь стала бить по их рядам, Михаил Бестужев командовал прыгать на лед Невы и бежать в Петропавловскую крепость, чтобы там засесть в осаде. Несмотря на то, что лед ломался от падавших ядер и большого скопления солдат, Бестужев остановил их, решив построить в каре, что сделало его роты прекрасной мишенью. Солдаты весело, с готовностью выполняли его приказы, демонстрируя почти детскую преданность своему командиру, пока прямые попадания картечи не положили этому конец. Оставшиеся в живых выбрались на берег у Академии художеств, Бестужев решил было занять дорогие ему залы и приказал штурмовать ворота Академии, как, увидев эскадрон мчавшихся на них кавалергардов, командовал: «Спасайтесь, ребята, кто как может!» И в этот момент, уходя от погони, Бестужев увидел, как командир лейб-гвардейцев зарубил знаменщика, которому он приказал отнести знамя, чтобы тот таким образом спасся. Это был финал. В следующий момент он почувствовал, как «от души отлегла какая-то тяжесть. Мне как-то легко дышалось. Совесть моя была спокойна. Я знал, что исполнил свой долг безупречно» [Бестужев М., 1980, с. 68]. Похожее признание можно найти в воспоминаниях Оболенского, который, оказавшись в камере, «испытал отрадное чувство» [Оболенский, 1980, с. 106]. Они сделали все, что смогли и как смогли, но в безоглядной преданности делу, в следовании слову чести вопреки всему виден незрелый политический авантюризм первого революционного чувства, еще сильно связанного патернализмом. Их поражение становится первой практикой личной ответственности перед историей. В историософском измерении то, что они не стреляли, не было трусостью, это была своеобразная форма эти-

<sup>6</sup> В июне 1837 года в Кургане Жуковский встретился с колонией декабристов в доме Нарышкина. Запись в дневнике: «В течение всей ночи беседа с Нарышкиными, А. Е. Розеном, А. Ф. Бриггеном, Н. И. Лорером и др. набросок письма императору об амнистии декабристов» [Жуковский, 2004, с. 380].

ческой остановки. Они застыли на границе между долгом и законом, между верностью верноподданного и свободой. Для каждого участника это была экзистенциальная точка нуля, где человек впервые осознает себя как морального субъекта, а не как часть иерархии. Именно отсюда растет русская традиция совести — от А. И. Герцена до Л. Н. Толстого и А. А. Блока.

Так что же это было — стояние на Сенатской площади полков, которыми командовали младшие офицеры, против полков, где значительная часть солдат и офицеров сочувствовала восставшим? Осознанное пассивное сопротивление представителей мелкого дворянства? Попытка донести до нового царя мысль, что нельзя править по-старому? Так или иначе, молчаливая надежда на просвещенный абсолютизм в то время — время неизжитого патернализма и еще вполне себе жизнеспособной презумпции богоданности царской власти — в полной мере могла выразиться только в нравственном действии. Социальная неоднородность тайного общества — сюжет не самый популярный, тем не менее главными участниками 14 декабря были представители мелкого и среднего дворянства. Возникшую ситуацию помогают понять рассуждения А. Валицкого о том, что «конституционные мечты в России долгое время были монополизированы небольшой группой наследственной аристократии, и это объясняет, почему служилое мелкое дворянство и интеллектуальная элита, которые были обязаны своим положением модернизации России, инициированной государством, все свои надежды связывали с просвещенным абсолютизмом» [Валицкий, 2012, с. 39]. Это было третье и, очевидно, главное содержание восстания 14 декабря, заключительная часть триптиха. Вслед хорошо прописанному, но нереализованному плану аристократического конституционализма, проводимому представителями служилой и наследственной аристократии, и после попыток Рылеева навязать сценарий революционного насильственного захвата власти, чему он практически не нашел поддержки, смысл третьего акта восстания декабристов заключался в нравственном самостоянии личности, выражающей свой протест против деспотизма. В том и состоит феноменологическая исключительность декабрьского восстания, представлявшего собой ярчайший в истории России демонстративный акт самосознания личности. В контексте феноменологии исторического опыта это можно описать как переход от события к образу: от идеи закона — к идее жертвы и далее — к идее достоинства — такова феноменология рождения личности в истории. Декабристы не добились изменения мира, но создали модель внутреннего выбора, который определил камертон будущей философии истории России.

Трагический конец восстания вызывает сколь досаду, столь и невыразимое сочувствие к этим молодым людям. В них было столько чистоты помыслов,

искренности, веры в идеалы — и почти детской неспособности просчитать последствия. Именно это делает декабристов трагическими героями: они прекрасны в своем стремлении пожертвовать всем ради блага народа, но бессильны против реальности, в которую вторгаются. Перед казнью самый молодой из приговоренных, Михаил Бестужев-Рюмин, плакал, когда услышал даже не утешение, а наставление старшего друга, Сергея Муравьева-Апостола, призывавшего встретить смерть с твердостью «как мученику за правое дело России, утомленной деспотизмом» [Цебриков, 1980, с. 254]. Примерно через полвека казни борцов против режима возобновятся, жертв будет немало, но имена павших декабристов в этом пространном мартирологе не забыты, они звучат. Для каждого офицера, стоявшего перед войсками императора, это был личный выбор, в котором решающее значение имело чувство собственного достоинства. Осмелюсь предположить, что, если бы декабристы приказали своим войскам атаковать полки императора и произошла бы кровавая гражданская война в масштабах Сенатской площади, история была бы написана иначе и иначе помнилась. Личность, рожденная декабрём 1825 года как политический актер, самодостаточная в своей жертвенности, предопределила гуманизм второй четверти XIX века, явленный уже в этических и эстетических терминах. С восстанием произошла смена смыслов в «обобщенном идеале человека», сущностного для любого либерального движения [Малиа, 2010, с. 103]. В своем символическом звучании восстание — не политическая ошибка, а акт самопознания личности. Феноменологический анализ, таким образом, делает возможным понимание декабризма как многослойного феномена, где историческое и экзистенциальное не совпадают, а воспоминание, текст и действие образуют сложную динамику смыслов.

## Заключение

Тайные общества декабристов существовали и действовали в системе ценностей Просвещения, в которой главным пунктом были естественные права. Для декабристов принципиальным был вопрос законности нового правления — они хотели навсегда уйти от дворцовых переворотов, выступая «против обращения с нацией как с семейной собственностью» [Лунин, 1987, с. 137]. Просвещенная часть общества принимала идею конституции только как осмысленное, добровольное самоограничение власти, не в полной мере ощущая себя субъектом права. Тактика заговора, примененная декабристами, дискредитировала идеи века, обнаружила книжность западной теории, что и породило дискурс об отрицательном воздействии на общественные идеалы «иноземных идеологизмов» [Пушкин, 1996, с. 43]. С тех пор значение события 14 декабря



оценивалось по-разному, но, когда к концу XX века окончательно развеялось обаяние революции, стали возможны такие выводы:

Для многих современников и последующих деятелей было ясно: поражение было далеко не случайным. Политический волюнтаризм, чисто просветительская уверенность, что достижения «разума» могут быть легко перенесены в любую общественную среду, некритическое следование западным политическим формам и методам действий — вот в чем усматривается корень неудачи восстания 14 декабря.

[Пантин, Плимак, Хорос, 1986, с. 134]

В нескрываемой досаде историков содержится практически та же горечь, что и в словах генерал-адъютанта В. В. Левашева, бросившего упрек только что арестованному Трубецкому: «Ах, князь, вы сделали много зла России, вы ее отодвинули назад на пятьдесят лет!» [Трубецкой, 1988, с. 52]. Левашев ошибся в сроке: день 14 декабря был первой и последней попыткой конституционного переворота в России в XIX веке. Его исход закрыл вопрос о конституции на 80 лет. Глухим дежавю в связи с убийством Александра II весной 1881 года всплывут слухи о конституции М. Т. Лорис-Меликова, но к тому времени пореформенное поколение, обладающее развитым правосознанием, сильного соперника найдет не в верховной власти, терявшей адекватность, а в правовом нигилизме [Щербатова, 2015а, с. 13]. После разгрома восстания конституционная идея ушла не только из общественного дискурса, ее стало невозможно отыскать в глубинах самосознания культурного общества. Верность идеалам конституционализма сохранили только декабристы, в большинстве своем жившие в Сибири большой общиной, а избежавшие наказания либералы того времени, как правило, изменили свои взгляды.

В первую четверть XIX века общество с надеждой следило за реформационными проектами Александра I, реализация которых к 1818 году была более чем вероятна: оформление политических прав дворянства давно было его исковой целью. Постепенный, посредством реформы сверху, через просвещение народа — таков должен был быть размеренный путь русского конституционализма. Другое дело, что конституционные планы Александра I шли рука об руку с крестьянской реформой, а вот к ней большинство помещичьего дворянства готово не было. Рокот недовольства, испугавший императора, раздавался с этой стороны. Так что логически вытекающий вывод о том, что восстание обнажило незрелость русского общества, неготового к реализации западных политических теорий в силу их беспочвенности, далеко не абсолютен. Упреки

Чаадаева, генерала Левашева, историков касались не конституционных планов, а того, каким образом их попытались реализовать. Иных, кроме западных, прогрессистских учений тогда не было (если только не абсолютизировать практику земств). Это обстоятельство никого не смущало в ситуации, когда правительство в общем мнении являлось первым европейцем. Преимущество законопослушного населения еще и в том, что оно приняло бы все реформы, идущие сверху, но заговор ближнего круга был угрозой, с которой Александр I не мог не считаться. В этом заключался глубинный архаизм системы самодержавия.

Последствия неудачи декабрьского восстания стали, по существу, фатальными для развития политической практики в России на последующие полвека. Вместо политико-правовой риторики начали преобладать нравственные критерии в оценке власти. Это был явный откат в правосознании общества. Урок восстания состоит не в поражении, а в непопадании эпохи в саму себя. В этом смысле феноменологический подход позволяет описать не только исторические факты, но и множество «внутренних миров», в которых декабристское восстание продолжается как событие сознания. Так, феноменологический разрыв между тем, что реально произошло, и тем, как оно потом осмыслялось и переживалось, проявился в утрате агентности — способности действовать как моральная и политическая личность. Э. Ван дер Зверде обратил внимание на то, что русские интеллектуалы были одержимы вопросом политической агентности в условиях, когда прямое обращение к царю являлось не только очевидным, но единственно возможным открытым политическим актом. В ситуации официального самодержавия, обусловившего подавление любой оппозиционности и отсутствие политического участия, существовала только одна политическая власть и только один легитимный агент: царь. Отсюда рефреном звучали риторические вопросы, выражающие чувство морального протеста, — «Что делать?» и «Кто виноват?» [Van der Zweerde, 2022, pp. 20–36], немислимые в первую четверть XIX века, когда общество уверенно ощущало свою агентность, реализуемую в идее служения. Наиболее последовательно идея служения отечеству выразилась в движении декабристов. После восстания идея служения вырождается: власть больше не доверяет подданным, подданные — власти, и, как следствие, гражданская ответственность перерождается в нигилизм. Происходит онтологический перелом русской совести, после которого слово «долг» становится скорее экзистенциальным, чем юридическим. Восстание декабристов было своего рода прологом, если рассматривать его в контексте практической философии, к своему собственному, не заимствованному, русскому Просвещению [Пустарнаков, 1999, с. 76]. Русское Просвещение началось

именно тогда, когда человек впервые почувствовал себя субъектом совести, а не объектом власти. Декабристы — не реформаторы и не революционеры, а первая генерация людей, понявших, что совесть важнее приказа. Сопутствующая восстанию негация привела к стойкой дискредитации либеральных идей, что обеспечило взрывной синтез идеологии Просвещения и социалистического идеала. Это то, что касается отдаленных практических последствий восстания. В плане же метафизики утрата смысла в открытом действии стала началом национального самопознания, теоретическую основу чего составила также западная теория — немецкая классическая философия.

### Список источников

Анкерсмит Ф. Р. Возвышенный исторический опыт. М.: Изд-во Европа, 2007. 612 с.

Батеньков Г. С. Сочинения и письма. В 2 т. Иркутск: Иркутский музей декабристов: ООО «Артиздат», 2015. Т. 2. 740 с.

Бестужев М. А. Из «Моих тюрем» // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2 т. М.: Художественная литература. 1980. Т. I. С. 49–105.

Бестужев Н. А. Воспоминания о Рылееве // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2 т. М.: Художественная литература. 1980. Т. 2. С. 62–89.

Боровков А. Д. Из «Автобиографических записок» // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2 т. М.: Художественная литература. 1980. Т. 2. С. 95–96.

Брегман А. А. Декабрист Гавриил Степанович Батеньков // Батеньков Г. С. Сочинения и письма. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1989. Т. I. С. 3–88.

Валицкий А. Философия права русского либерализма / под науч. ред. С. Л. Чижкова. М.: Мысль, 2012. 567 с.

Восстание декабристов. Материалы / под общей ред. М. Н. Покровского. М.–Л.: Госиздат, 1925. Т. 1. XIX, 540 с.

Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М.: Наука, 2000. 495 с.

Декабристы. Поэзия, драматургия, проза, публицистика, литературная критика. М.–Л.: Художественная литература, 1951. 688 с.

Жуковский В. А. Полное собрание сочинений и писем: В 20 томах. М.: Языки русской культуры, 2004. Т. 14. Дневники. Письма-дневники. Записные книжки. 1834–1847. 768 с.

Киянская О. И. Люди двадцатых годов. Декабрист Сергей Муравьев-Апостол. М.: РИПОЛ классик, 2023. 768 с.

Лунин М. С. Письма из Сибири. М.: Наука. 1987. 496 с.

Малиа М. Александр Герцен и происхождение русского социализма. 1812–1855. М.: Издательский дом «Территория будущего», 2010. 568 с.

Медушевский А. Н. Конституционные проекты в России // Конституционные проекты в России конца XVIII — начала XX в. / сост., автор вступ. ст. и коммент. А. Н. Медушевский. М.: РОССПЭН, 2010. С. 5–72.

Мироненко С. В. Александр I и декабристы. Россия в первой четверти XIX века. Выбор пути. М.: Кучково поле, 2016. 399 с.

Немзер А. С. Четверо о незабываемом (мемуарная проза декабристов) // Мемуары декабристов. М.: Правда. 1988. С. 5–18.

Нечкина М. В. День 14 декабря 1825 года. М.: Мысль. 1985. 256 с.

Оболенский Е. П. Воспоминания о Рылееве // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2 т. М.: Художественная литература. 1980. Т. 2. С. 97–110.

Пантин И. К., Плимак Е. Г., Хорос В. Г. Революционная традиция в России. М.: Мысль, 1986. 343 с.

Пустарнаков В. Ф. Еще раз о сущности философии русского Просвещения 1860-х гг. и впервые о его кризисе // История философии. 1999. № 4. С. 57–88.

Пушкин А. С. О народном воспитании // Пушкин А. С. Полное собрание сочинений в 17 томах. М.: Воскресенье, 1996. Т. 11. С. 43–47.

Пуцин М. И. Из «Записок» // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2 т. М.: Художественная литература. 1980. Т. I. С. 231–237.

Розен А. Е. Записки Декабриста. Иркутск: Восточно-Сибирское книжное изд-во, 1984. 480 с.

Трубецкой С. П. Записки. 1844–45. (1854) гг. // Мемуары декабристов. М.: Правда. 1988. С. 19–76.

Трубецкой С. П. Из показаний С. П. Трубецкого // Декабристы. Избранные труды. Составитель, автор вступит. статьи и комментариев О. И. Киянская. М.: РОССПЭН, 2010. С. 215–236.

Цебриков Н. Р. Воспоминания о Кронверкской куртине (Из записок декабриста) // Писатели-декабристы в воспоминаниях современников. В 2 т. М.: Художественная литература. 1980. Т. I. С. 240–249.

Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма. В 2 т. М.: Наука, 1997. Т. 2. 672 с.

Щедрина И. О. Значение исторической памяти и нарратива для становления культурно-исторического сознания // Проблемы российского самосознания: историческая память народа. Материалы 12-й Всероссийской научной конференции. М.–Махачкала: Издательство «Дельта-пресс», 2015. С. 332–337.

Щербатова И. Ф. Оранжевый конституционализм в эпоху сумеречной гражданственности // История в подробностях. 2015а. № 12 (66). С. 6–15.

Щербатова И. Ф. Трансформация образа восстания декабристов в исторической памяти // Проблемы российского самосознания: историческая память народа. Материалы 12-й Всероссийской научной конференции. М.–Махачкала: Издательство «Дельта-пресс», 2015b. С. 338–348.

Van der Zweerde Evert. Russian Political Philosophy: Anarchy, Authority, Autocracy. Edinburgh University Press, 2022. 280 p.

## References

Ankersmit, F. R. (2007) *Vozvyshennyi istoricheskii opyt* [Sublime Historical Experience]. Moscow: Evropa Publ.

Batenkov, G. S. (2015) *Sochineniya i pis'ma: v 2 tomakh. Tom 2* [Works and Letters: in 2 vols. Vol. 2]. Irkutsk: Irkutsk Museum of the Decembrists; Artizdat, 2015.

Bestuzhev, M. A. (1980) "Iz 'Moikh tyurem'" ["From 'My Prisons'"], in *Pisateli-dekabristy v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 tomakh. Tom I* [Decembrist Writers in the Memories of Contemporaries: in 2 vols. Vol. I]. Moscow: Fiction, pp. 49–105.

Bestuzhev, N. A. (1980) "Vospominaniya o Ryleeve" ["Memories of Ryleev"], in *Pisateli-dekabristy v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 tomakh. Tom II* [Decembrist Writers in the Memories of Contemporaries: in 2 vols. Vol. II]. Moscow: Fiction, pp. 62–89.

Borovkov, A. D. (1980) "Iz 'Avtobiograficheskikh zapisok'" ["From 'Autobiographical Notes'"], in *Pisateli-dekabristy v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 tomakh. Tom II* [Decembrist Writers in the Memories of Contemporaries: in 2 vols. Vol. II]. Moscow: Fiction, pp. 95–96.

Bregman, A. A. (1989) "Dekabrist Gavriil Stepanovich Baten'kov" ["Decembrist Gavriil Stepanovich Batenkov"], in Batenkov, G. S. *Sochineniya i pis'ma* [Works and Letters. Vol. I]. Irkutsk: East Siberian Publ., pp. 3–88.

Valitskii, A. (2012) *Filosofiya prava russkogo liberalizma* [Philosophy of Law of Russian Liberalism]. Ed. by S. L. Chizhkov. Moscow: Mysl' Publ.

*Vosstanie dekabristov. Materialy. Tom 1* [The Decembrist Uprising. Materials. Vol. 1] (1925) Ed. by M. N. Pokrovsky. Moscow — Leningrad: Gosizdat.

Gegel, G. V. F. (2000) *Fenomenologiya dukkha* [Phenomenology of the Spirit]. Moscow: Nauka.

Dekabristy (1951) *Poehziya, dramaturgiya, proza, publitsistika, literaturnaya kritika* [The Decembrists. Poetry, Drama, Prose, Journalism, Literary Criticism]. Moscow — Leningrad: Fiction.

Zhukovskii, V. A. (2004) *Polnoe sobranie sochinenii i pisem: V 20 tomakh. Tom 14. Dnevnik. Pis'ma-dnevnik. Zapisnye knizhki. 1834–1847* [Complete Works and Letters:



in 20 vols. Vol. 14. *Diaries. Letters-Diaries. Notebooks. 1834–1847*]. Moscow: Languages of Russian Culture Publ.

Kiyanskaya, O. I. (2023) *Lyudi dvadtsatykh godov. Dekabrist Sergei Murav'ev-Apostol* [*People of the Twenties. Decembrist Sergei Muravyov-Apostol*]. Moscow: RIPOL classic Publ.

Lunin, M. S. (1987) *Pis'ma iz Sibiri* [*Letters from Siberia*]. Moscow: Nauka.

Malia, M. (2010) *Aleksandr Gertsen i proiskhozhdenie russkogo sotsializma. 1812–1855* [*Alexander Herzen and the Origin of Russian Socialism. 1812–1855*]. Transl. from English by A. Pavlov, D. Uzlaner. Introduction and general ed. by A. Pavlov. Moscow: “Territory of the Future” Publ.

Medushevskii, A. N. (2010) “Konstitutsionnye proekty v Rossii” [“Constitutional Projects in Russia”], in *Konstitutsionnye proekty v Rossii kontsa 18 — nachala 20 v.* [*Constitutional Projects in Russia of the Late 18<sup>th</sup> — Early 20<sup>th</sup> Century*]. Comp., author of the introduction and commentary A. N. Medushevsky. Moscow: ROSSPEHN, pp. 5–72.

Mironenko, S. V. (2016) *Aleksandr I i dekabristy. Rossiya v pervoi chetverti 19 veka. Vybor puti* [*Alexander I and the Decembrists. Russia in the First Quarter of the 19<sup>th</sup> Century. Choosing a Path*]. Moscow: Kuchkovo Pole Publ.

Nemzer, A. S. (1988) “Chetvero o nezabyvaemom (memuarnaya proza dekabristov)” [“Four Memories of the Unforgettable (Decembrists' Memoirs)”], in *Memuary dekabristov* [*Memoirs of the Decembrists*]. Moscow: Pravda, pp. 5–18.

Nechkina, M. V. (1985) *Den' 14 dekabrya 1825 goda* [*The Day of December 14, 1825*]. Moscow: Mysl' Publ.

Obolenskii, E. P. (1980) “Vospominaniya o Ryleeve” [“Memories of Ryleev”], in *Pisateli-dekabristy v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 tomakh. Tom II* [*Decembrist Writers in the Memories of Contemporaries: in 2 vols. Vol. II*]. Moscow: Fiction, pp. 97–110.

Pantin, I. K., Plimak and E. G., Khoros, V. G. (1986) *Revolutsionnaya traditsiya v Rossii* [*Revolutionary Tradition in Russia*]. Moscow: Mysl' Publ.

Pustarnakov, V. F. (1999) “Eshche raz o sushchnosti filosofii russkogo Prosveshcheniya 1860-kh gg. i vpervye o ego krize” [“Once Again on the Essence of the Philosophy of the Russian Enlightenment of the 1860s and, for the First Time, on Its Crisis”], *Istoriya filosofii* [*History of Philosophy*], 4, pp. 57–88.

Pushkin, A. S. (1996) “O narodnom vospitanii” [“On Public Education”], in *Polnoe sobranie sochinenii v 17 tomakh. Tom 11* [*Complete Works in 17 vols. Vol. 11*] Moscow: Voskresen'e Publ., pp. 43–47.

Pushchin, M. I. (1980) “Iz ‘Zapisok’” [“From the ‘Notes’”], in *Pisateli-dekabristy v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 tomakh. Tom I* [*Decembrist Writers in the Memoirs of Contemporaries: in 2 vols. Vol. I*]. Moscow: Fiction, pp. 231–237.

Rozen, A. E. (1984) *Zapiski Dekabrista [Notes of the Decembrist]*. Irkutsk: East Siberian Book Publ.

Trubetskoi, S. P. (1988) “Zapiski. 1844–45. (1854) gg.” [“Notes. 1844–45. (1854)”], in *Memuary dekabristov [Memoirs of the Decembrists]*. Moscow: Pravda Publ., pp. 19–76.

Trubetskoi, S. P. (2010) “Iz pokazanii S. P. Trubetskogo” [“From the testimony of S. P. Trubetskoy”], in *Dekabristy. Izbrannye trudy [Decembrists. Selected Works]*. Compiler, author of the introductory article and commentaries O. I. Kiyanskaya. Moscow: ROSSPEN, pp. 215–236.

Tsebrikov, N. R. (1980) “Vospominaniya o Kronverkskoi kurtine (Iz zapisok dekabrista)” [“Memories of the Kronverk Curtain (From the Notes of a Decembrist)”], in *Pisateli-dekabristy v vospominaniyakh sovremennikov: v 2 tomakh. Tom I [Decembrist Writers in the Memories of Contemporaries: in 2 vols. Vol. I]*. Moscow: Fiction, pp. 240–249.

Chaadaev, P. Ya. (1991) *Polnoe sobranie sochinenii i izbrannye pis'ma: v 2 tomakh. Tom 2 [Complete Works and Selected Letters: in 2 vols. Vol. 2]*. Moscow: Nauka Publ.

Shchedrina, I. O. (2015) “Znachenie istoricheskoi pamyati i narrativa dlya stanovleniya kul'turno-istoricheskogo soznaniya” [“The Importance of Historical Memory and Narrative for the Development of Cultural and Historical Consciousness”], in *Problemy rossiiskogo samosoznaniya: istoricheskaya pamyat' naroda. Materialy 12-i Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii [Problems of Russian Self-Consciousness: The Historical Memory of the People. Proceedings of the 12<sup>th</sup> All-Russian Scientific Conference]*. Moscow — Makhachkala: Delta-Press Publ., pp. 332–337.

Shcherbatova, I. F. (2015a) “Oranzhereinyi konstitutsionalizm v ehpokhu sumerechnoi grazhdanstvennosti” [“Hothouse Constitutionalism in the Age of Twilight Civics”], *Istoriya v podrobnostyakh [History in Detail]*, 12(66), pp. 6–15.

Shcherbatova, I. F. (2015b) “Transformatsiya obraza vosstaniya dekabristov v istoricheskoi pamyati” [“Transformation of the Image of the Decembrist Uprising in Historical Memory”], in *Problemy rossiiskogo samosoznaniya: istoricheskaya pamyat' naroda. Materialy 12-i Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii [Problems of Russian Self-Consciousness: The Historical Memory of the People. Proceedings of the 12<sup>th</sup> All-Russian Scientific Conference]*. Moscow — Makhachkala: Delta-Press Publ., pp. 338–348.

Van der Zweerde, Evert. (2022) *Russian Political Philosophy: Anarchy, Authority, Autocracy*. Edinburgh University Press.

---

**Информация об авторе:** Ирина Федоровна Щербатова — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Института философии Российской академии наук. Адрес: Российская Федерация, 109240, Москва, ул. Гончарная, д. 12, стр. 1.

**Information about the author:** Irina F. Shcherbatova — PhD in Philosophy, Senior Research Fellow at the Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences. Address: 12/1 Goncharnaya Str., Moscow, 109240, Russian Federation.

Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.

The author declares no conflicts of interests

Статья поступила в редакцию 08.11.2025;  
одобрена после рецензирования 01.12.2025;  
принята к публикации 10.12.2025.

The article was submitted 08.11.2025;  
approved after reviewing 01.12.2025;  
accepted for publication 10.12.2025.